

...За зиму всем миром, призывая на помощь даже власть из города, трижды устраивали облаву на волков. За последние два-три года в лесах окрест случилась неуродица, сухотища. Лес оскудел. Нынешняя зима снегом веси завалила. Зверь взлютовал, повадился по дворам шастать да потраву творить. Когда дошло до колхозной овчарни, где волки подрезали за одну ночь чуть ли не всю и без того небольшую отару, сам председатель возглавил мужиков против серых разбойников. Вооружились кто чем мог, подняли шум-тарарам по всей окрестной тайге. К весне большую волчью

стаю разрознили и почти всю истребили. Не обошлось и без приключений. На последней охоте, загнав остатки стаи в глухое место, чуть было не потеряли Егора Тихого. В самый важный момент кончились у его берданки патроны, а загнанная в угол стая летит прямо на него. Упал мужик бедный в сугроб и конца своего дожидается. Не подоспей тут кто-то из мужиков вовремя, каюк бы Егору пришёл. Но стаю отогнали, волчицу матёрого застрелили, а потом ещё всю весну и лето после того разговоров много было.

...Когда пришли лютые морозы, а земля надёжно скрылась под тяжёлым одеялом снегов, его жестокое сердце, всегда ровное и уверенное, вдруг защемило непонятной беспощадной тревогой. Это чувство овладело каждой мышцей, каждой настороженной жилкой. Его сухое упругое существо переполнилось этим чувством до корней волос. Даже днём хотелось выть, задравши голову в белёсое низкое небо. И он предавался этому с упоением, лишь только ночь подминала в свои зябкие объятия окрестные вершины корявых дубов. Он выходил из мрачного оврага, который служил ему неплохим убежищем уж добрый десяток лет, садился на самом краю, задирая лобастую морду вверх и... выл. Он знал наверняка, что стая слышит его. Он всегда чувствовал это. И знал, что не сегодня-завтра стая придёт к нему. Голод и зима обостряют в стае инстинкт подчинения сильному и жестокому, которому природа дала чуть больше, чем остальным, чтобы уметь выжить в самые трудные и голодные времена. Сильный в одиночку может то, чего не умеет вся стая. А он был силен и мог! Он знал и мог много! Так много, что иногда сомневался в нужности всего этого для себя самого. Единственное, что умирало его сомнение, была мысль о стае, о том, что стая где-то рядом, всегда рядом и всегда может случиться голод. И тогда стая придёт. Тогда он будет нужен стае, которую он никогда не любил, за что стая платила ему всегда тем же. Но какая-то неведомая сила заставляла его всю свою трудную и долгую жизнь накапливать в себе умение самосохранения, год от году упражнять в себе все инстинкты, наверняка зная то, что

придёт час — и стае понадобится вожак, знающий секрет выживания в год Великого Голода. Так бывало один раз в поколение. Только один раз, но... бывало непременно. Это знали в стае все. Но также знали, что предвидит и остаётся сильным в этот миг — один. В эту зиму стая придёт к нему, к одиночке. И он против своего желания должен будет научить стаю выжить.

...В то далёкое тревожное лето, когда Громыхающая Смерть бродила в здешних трущобах, он остался без матери. Сейчас он почти не помнил её. Она сохранилась в памяти какой-то серою тёплой тенью на входе их сухого укромного обиталища. Только запах матери всегда жил в нём, и, казалось, оживи сегодня этот запах за пять-шесть километров от его оврага, он сразу узнал бы его. Но такого запаха он больше никогда не встречал. Вот запах убитой матери он потом не единожды вдыхал чутким носом, лишь только Смерть объявлялась в окрестности. Громкая и беспощадная, она находила добычу в любом самом дальнем и глухом месте. После того, как она делала выбор, уже недвижимая добыча её распространяла далеко окрест запахи убитой вот так же когда-то его матери. Это был запах самой Смерти, останавливающий дыхание, заставляющий колотиться сердце и мчаться прочь сквозь любую непролазную чащу.

Но в то лето он ещё не умел так резво бегать. Самый слабый из четырёх сестёр и братьев, он замешкался тогда у недвижимой, с излишне вытянувшимися ногами, матери. Всё остальное серое семейство бросилось врассыпную, а он скулил и тыкался носом в ещё тёплую материнскую шкуру. Какая-то неведомая сила ухватила его за загривок и подняла высоко от земли. Он напрасно пытался вырваться. Сила, его державшая, была велика и непостижима. В чём-то пыльном и тесном его долго тащили, потом та же сила вытряхнула его в душистый ворох соломы, а огромная голая лапа вновь трясла его за загривок. Он изловчился тогда огрызнуться и укусил эту лапу. Та оставила его в покое. С тех времён чувство неизбывной тоски и одиночества поселилось в его настороженном теле навсегда. Это чувство тогда даже

пересиливало голод, и он долго отказывался от заботливо подаваемой ему тёплой, белой, сытно пахнущей жидкости. Умение голодать он освоил самым первым из всего, что потом нужно будет одиночке.

И, наверное, подход бы тогда, так и не дотронувшись до пищи, если бы всё та же сильная белая лапа не разжала его слабеющих челюстей и не заставила насильно глотать живительное тепло, разносящее в теле желание жить. После этого он сам стал осторожно притрагиваться к еде. Но ел ровно столько, чтобы почувствовать лишь, что жизнь не уйдёт из него. С того самого времени умение побеждать голод он всегда совершенствовал в себе. Теперь он умел оставаться достаточно сильным неделями, смиренно соглашаясь с недостатком пищи. Но как бы то ни было, чувство благодарности к той лапе, что кормила его, волей-неволей зародилось тогда в его костлявой груди. Он по-прежнему огрызался и не подпускал лапу к своему загривку, но что-то уже удерживало его от возможности намертво вцепиться в её мягкую податливую плоть. Ему стал приятен и запах долговязого существа, заботящегося о нём и пытающегося своей безволосой лапой всегда заигрывать с ним. Однажды ему даже захотелось лизнуть её. Эта лапа всегда приносила с собою сладкий запах тумана, густо исходившего из небольшого сучка, что сжимала лапа в своих толстых и тупых когтях. Такой, только слабый, запах иногда приносила его тощая серая мать. После своих отлучек из их уютного убежища она возвращалась усталой и чуть-чуть чужой, потому что всегда вместе с нею в нору приходили незнакомые запахи. Она пахла ветром, сырыми листьями, пихтовой смолой, луговым цветом и ещё каким-то чудным дымом или туманом. Потом он часто вдыхал такой запах в тех случаях, когда оказывался вблизи селений, у овчарни или конюшни, куда в суровые зимы голод приводил его за добычей. Это был запах людей и их жилья. Но даже среди всего многообразия людских запахов он всегда мог определить запах той благодетельной прокуренной лапы, что заботилась о нём в его беспомощном начале.

...От человека он ушёл в первую же весну, лишь дохнули проталины на косогорах прелью прошлогодней травы, лишь брызнула в небо верба серебром своих барашков. Безволосая лапа больно поколотила его за придушенную в углу двора курицу и привязала его в сараюшке на короткую грубую верёвку. Так было часто с тех пор, как его, долгового и неуклюжего, пытались приучить ко двору и отпускали с привязи. Он не любил верёвку и тогда, когда его ею били, и тогда, когда его ею привязывали. Курица была последней его проказой в этом дворе. За ночь он стянул через уши ошейник и, взобравшись на пустую перевернутую бочку, ушёл через крышу, прорвав меж редкими досками рубероид. Ушёл сразу и бесповоротно в лес, оставив позади увязавшихся было с лаем собак.

...Первый год одиночества он вынес удачно легко. Поводырём и учителем ему в незнакомом месте были голод и страх. Голод заставлял искать пищу, не брезговать любой подвернувшейся мышью. Голод научил его распознавать даже съедобные корни и растения, что часто спасало его потом, во времена неудач и промахов на охоте, и сделало его выносливым. А страх уберегал от неведомого и учил терпению. И то, и другое тренировали тело. Ноги его окрепли и не знали усталости в многодневных походах за пищей. Вторым летом он возмужал и к осени принял обличье крепкого молодого зверя с осанкою опасного и сильного гордеца, которая обычно приличествует одиночкам. Только ко второй зиме непонятное, непреодолимое чувство тоски заставило его искать себе подобных. Ещё летом он заметил нору, где ютилась волчица с потомством. Но осторожность не позволила ему даже обнаружить себя, и он лишь издали несколько дней наблюдал за беспокойным выводком, а потом убрался подальше, выбирая глушь и чащобу. К зиме одиночество обострило инстинкты, природа требовала продолжения рода, и он, движимый лишь неодолимым чувством накотившей невесты откуда любви к той заботливой волчице, сорвался со своего обжитого места и ушёл в стаю. Долго шёл на далёкий вой в ночи, ошалевал от дикой ярости к своему

неумению противостоять зову великого таинства любви. Остановливался, поворачивал назад, опять останавливался, кружил по чаще, обдираясь в буреломе о когтистые лапы павших елей, и всё-таки возвращался на жуткие, режущие морозный воздух звуки ночной волчьей песни. Долго кружил уже рядом со стаей, петлял, отходил в сторону, принюхивался и, вскидывая гордую голову на каждый шорох, жадно втягивал в себя воздух близкого звериного сборища. Только основательно изведав окрестности, он приблизился к стае, чтобы ещё издали долго наблюдать за сородичами.

Стая была немногочисленной, сытой и неосторожной. Любовные игры сделали зверя шумным и общительным, хотя грудились в кучу на большой площади лишь молодые самцы, а самки и кто постарше предпочитали несколько обособленные места вокруг. Его они увидели лишь тогда, когда он сам проявил себя издали, поднявшись из своего укрытия в овражке за большим ореховым кустом. И тут, кажется, не оправдались ни его страхи, ни излишняя осторожность. Стая осталась как будто равнодушной к чужаку. Но это было чуткое, настороженное равнодушие. Осмелев, он сделал несколько шагов в сторону молодых резвых самцов. В первый миг его приняли на равных. Но вторым мигом ему пришлось сделать угрожающий выпад с клацаньем зубов по отношению к одному из молодых, пытавшемуся, кажется, заигрывать с ним. После этого молодые оставили его, разочарованные угрюмостью и недружелюбием чужака. Они не увидели в нём силу, но не нашли и ровню. Этого было достаточно, чтобы не состояться и намёку на дружбу. Равнодушие сразу же отделило его от молодых. Зато он вмиг заметил, как насторожился сильный самец, что поодаль наблюдал за стаей. Это был явно вожак. Вот его расположение и требовалось, чтобы стая приняла чужого.

Одиночество многому учит, но оно нисколько не даёт умения общаться с себе подобными. Он не знал законов стаи, не знал запретов и ограничений, не знал коварства и обмана. Всему этому нужно было научиться раньше. Но теперь ему предстояло только полагаться на случай, который

либо даст шанс сблизиться с сородичами, либо что-то помешает этому. Этим «что-то» оказались его собственная гордость и никогда не обманывающее чутьё встреченного им вожака. Опытный волк увидел в нём своего соперника. Он умел видеть далеко и прозорливо, этот серый матёрый хищник. Драка завязалась просто и без прелюдий. Вожак знал свою силу, и её нужно было показывать сразу же. Он также не знал противника и поэтому знакомиться решил без промедления.

Схватка была короткой и безжалостной. Вожак резко метнулся к чужому, сделал обманное движение, сшиба грудью и намереваясь вцепиться зубами в крепкую шею молодого новичка. И всё-таки он промахнулся. Пришлый соперник оказался более увёртлив, чем это показалось сначала. Уже на излёте прыжка вождя понял, что это его последняя схватка. Мелькнувший колючий взор противника красноречиво говорил ему об этом. Смыкая зубы, он не почувствовал привычного хруста хрящей. Рывок, нацеленный к глотке, пришёлся только по боку чужаку. На зубах закрипела шерсть, клыком он всё-таки полоснул податливую шкуру. Она без особого сопротивления тут же засочилась теплом в его сомкнутые намертво челюсти. Молодой зверь, уйдя от прямого удара, лишь взвизгнул от боли в боку и на извороте вцепился вожаку в шею там, где бьётся струёй в голову кровь, где под шкурой всегда напряжены верёвки сильных мышц. Боль и тому, и другому ворвалась в мозг, спутала движения, но инстинкт самосохранения довершал всё сам. Вонзая клыки в горячую глотку и разрывая её резким движением в сторону, чужак вдруг затих, словно мёртвый. Кровь противника хлынула ему в ослабевшую пасть, но он не ощутил её вкуса. Силы оставили его на миг. Капкан сомкнутых челюстей вожака в боку, тяжесть ещё подёргивающихся мышц давили к земле. Снег, обогранный кровью, заискрился арбузным нутром. Вожак был мёртв, а чужой, последним усилием разрывая себе окончательно пах, освободился от его зубов и надолго затих тут же. Стая отшатнулась от поверженной пары и оцепенела.

...Как он выжил в ту зиму, знает лишь глухой потаённый угол распадка меж двух крутых лесистых вершин. В самом низу, в мшистых валунах, здесь всегда булькает ручей. Говорок его слышен даже студёною зимой из-под белого сала метровой наледи, остатки которой ещё и в июне можно встретить под комьями корней вековых лип, повисающих густо ко мхам. И опять с самого начала ему везло. Уползая с места схватки, инстинктивно не оставляя за собою следа, он часто подолгу слизывал кровь с раны, мешая её с повалившимися вдруг с неба мохнатыми снежинками. В распадок он скатился кубарем, барахтаясь в глубоком снегу, ошалевавшая от боли и бессилия. И взыгравшая к ночи пурга скрыла его. Ему повезло и с логовом. На южной прогалине в таволге он свалился в овражек, да так и остался в нём, занесённый снегом, до окончания вьюги. Потом он мало-помалу выгреб снег до земли, где толстый слой палой листвы послужил ему постелью до весны. Здесь было безветренно и сухо. Лишь постанывал по соседству в морозы голубой, с витой прозеленью по всему стволу, клён. Кормился он случайной мышью. Грыз мёрзлый берег ключа, отыскивая сладковатые корни колючей аралии, да к концу зимы удавил-таки давно примеченного колонка. Растянул его с тупым отвращением недели на две, прикапывая вонючую тушку среди камней снегом. И только когда с вершин ушёл снег, зашелестела поверх наледи в овраге весёлая вода, когда в его убежище стало заглядывать ласково и призывно солнышко, он, с трудом волоча ногу, спустился километра на четыре к железной дороге, звуки и запахи которой всю зиму тревожили его даже в его глухомани. За этой дорогой у зелёной подковы большого озера жили люди.... Это был его последний шанс. Обесилевший, с гноящейся раной, он только рядом с человеком мог надеяться на то, что выживет. Чутьё и здесь не подвело его. Всё лето он осторожно кормился у посёлка, воруя живность у дворов, обманывая собак и охотников. Но как только силы вернулись к нему, он ушёл тотчас в глушь.

...Этот год, казалось, ничем не отличался от предыдущих, но ещё прошлой осенью после отлёта птиц лес затих

и насторожился. В такой же насторожённости сбросил листву и совсем вымер, лишь только первая пороша легла пухом на землю. Зима простояла малоснежная, ветреная. Даже синиц из лесу словно выдуло. Всё живое подвинулось ближе к человеку. Даже стая, нарушая законы, всю зиму бродила вокруг, разоряя подворья, доставляя людям серьёзное беспокойство. Но он продержался зиму в своём урочище стойко, даже не подумывая пойти на поводу у безрассудной стаи, не поддаваясь искушению податься к жилью. Весна наскоро пробежала по опушкам леса, словно забывая заглянуть в чащу. И потому лес распустил листву как-то враз, торопливо, словно побаиваясь, что не успеет этого сделать вовремя, да так и остался с мелким листом до осени. Перелёт птиц прошёл где-то стороной, и озёра, обычно шумные в эту пору, свинцово хмурились, отражая лишь пики светлых, не набравших нужной зелени ёлок. Пустынно шумел в логах камыш. Так и не набрала силу трава. И во всём присутствовала какая-то тупо гнетущая тревога, потаённое напряжение. А летом тайгу спалило невиданным зноем. Сушь добралась во все закоулки леса, накаляя в пустых ключах камни, превращая в пепельную кору мхи по берегам, выветривая светлые измельчавшие листья на деревьях. В воздухе стоял горький дым близких пожаров, а случавшиеся ветры не приносили долгожданной прохлады и лишь будоражили и без того тревожным звоном сухостоя окрестную чащобу. И осень не принесла облегчения. Нагрянула резко, без задержек. Пронеслась опустошающим тайфуном, сшибая шквальным ветром всё, что и без того плохо держалось, унося всё к океану безжалостной, ненужной водою, скатывающейся быстро и бесполезно. В тайгу бесповоротно пришёл год Великого Голода. Оцепенение и безмолвие сошли с небес вместе с первым большим снегом, и грянувшие следом трескучие морозы сковали больно и безжалостно всё поднебесное пространство.

Ещё с прошлой зимы стая перешла из глухого урочища ближе к людным местам. Несмотря на бескормицу, численность лесного серого населения была как никогда

велика. Потому-то даже летом стая не распадалась совсем и бесчинствовала в округе. Матёрого одиночку стая долгое время словно не замечала, но никто из серых разбойников никогда не осмеливался встречаться с ним. И когда его долгая жуткая песнь резала вязкий студень ночного воздуха, стая затихала в оцепенении и сбивалась в кучу. Казалось, она боится пропустить даже малейший перелив этого всепроникающего зова силы и власти. И с каждым днём, с каждой всё более и более морозной ночью стая ближе и ближе подвигалась к его обители. И однажды, когда студёное утро, окунув колючее серебро ёлочных макушек в оловянного светящего неба, пришло в его потаённый овражек, он точно знал, что стая рядом. Тут, недалеко, на более пологом спуске к заиндевелому ключу, было ровное место. Несколько лет назад люди вырубили здесь большие деревья, и теперь лишь осинник топорщился из-под толщи снега. Только здесь стае можно было быть вместе на виду друг у друга. В это утро он знал, что стая ночевала в осиннике. И с этого самого утра он обязан будет теперь водить стаю в поисках пищи туда, где кормился все эти годы сам.

Он покажет им олени солонцы там, под самым небом, откуда лишь сочтётся тот ключик, что рядом сейчас стонет под глыбою застывшего потока. На солонцах они продержатся некоторое время, отбив от маленького стада двух-трёх изюбрей. Стаей это можно будет сделать, хотя при этом и стая потеряет двух-трёх удалцов, самых азартных и неутомимых, первыми кидающихся на добычу. Потом он научит неделями караулить небольшой шумный кабаньей гурт, чтобы выхватить в конце концов зазевавшегося под-свинка. Он знает, что после двух-трёх встреч кабаны уйдут отсюда. А искать их — значит, потратить впустую и время, и силы. Он вместе с голодом научит сородичей не брезговать мышами, любым мёрзлым клубнем или корешком и только в самом последнем случае поведёт стаю в селение к людям. Он знает, как люди могут оберегать свой скот и живность, как будут устраивать западни и ловушки, как будут выходить всем миром в лес, призвав в помощницы

Громыхающую Смерть. И будут посылать шумную гигантскую птицу в небо, чтобы и оттуда разогнать и уничтожить стаю. Но он обязан будет провести через всё это хоть маленькую часть стаи, хоть две-три особи должны выжить в этом вихре безжалостного времени Великого Голода. И стая беспрекословно будет следовать за ним, будет верить ему, бояться и трепетать пред силой его природы. В нём лишь стае обещано сейчас продолжение.

...Февраль в полудни уже дохнул нечаянным теплом. Оконца льда на ключе, вылизанные ветром, побурели, стали шершавыми, а кромка южных сугробов оплыла вдруг скользко вниз ножами звонких сосулук. Уже можно было погреться боком где-нибудь в ложке у валежины. Посинело небо и приподнялось заметно над вершинами. И серые мари, и коричневатые дубняки ближних сопок, и мрачный каменный берег ключа — всё настороженно прислушивалось к дуновению свежих ветров, прилетавших с теплом откуда-то из долины. Тайга ждала весну.

От большой волчьей стаи после зимы осталось только семь исхудавших голодных особей, включая и матёрого одиночку. Люди преследовали теперь их каждый день, не давая передыху, загоняя в глухой угол оврага. Оттуда выхода стае не было. Одиночка это знал. Последним правильным решением было бы идти прямо на людей. Но он всё уходил и уходил со стаей, надеясь на то, что люди выбьются из сил и отстанут. Или же в самый последний момент он сумеет вырваться, воспользовавшись каким-либо промахом преследователей. Так бывало не раз, когда удавалось и уйти, и ещё прихватить с собою нерасторопную уставшую собаку. Спасти кому-то можно было, только презирая смерть, поборов страх перед человеком.

Солнце скользило затухающим красным лучом по вершинам, когда совсем выбившаяся из сил стая остановилась у серой каменной осыпи. Вперёд дороги не было. Сзади в глубоком снегу вязли уставшие, охрипшие собаки. Следом виднелись цепью люди, полукольцом перекрывшие всё большое пространство глубокого заснеженного распадка,

которым только и можно было уйти из-под крутой, почти отвесной осыпи. Нервно скулил чудом ещё выживший, совсем обессилевший одноплеток, уткнувшись мордой в ещё тёплый от солнца камень. Вожак немигающим белым глазом искал брешь в охотничьей цепи. И едва он заметил, что справа метрах в двухстах чуть приотстал большой грузный человек в рыжем треухе, а собаки сбились левее, туда, где мельче снег, метнул своё сухое гибкое тело в ту сторону, словно полетел, чуть касаясь кровотокащими лапами ледяной корки сугроба. Стая бросилась следом. Загремели выстрелы. Взвизгнул прощально одноплеток и остался лежать под осыпью в снегу серым недвижимым пятном. Остальные стремительно приближались к усталому человеку, намереваясь сшибить его с ног, разорвать его в клочья, захлёбываясь злобой и безысходностью. Человек дважды, торопясь, безрезультатно выстрелил, потом почему-то отбросил в сторону ружьё и попытался бежать. Но вскоре увяз в глубоком снегу и упал. Расстояние между ним и стаей с каждой минутой сокращалось. Судьба сама готовила хищникам жертву. Вожак принял самый последний вариант спасения, который ему предлагала природа.

Морозный воздух раздирал ему ноздри и лёгкие, сердце колотало в сухой жилистой груди. Ещё несколько прыжков — и он достигнет обессилевшего человека. Но что-то ворвалось в его лобастую голову, растеклось оцепенением по всем мышцам, и он, недоумевающий и сникший, замедлил бег, замешкался, сбился с дыхания и, наконец, остановился как вкопанный в двух прыжках от недвижимого тела. Втянул в себя воздух и застыл, оскалив пасть. Сзади слышится шуршанье снега. Это надвигается с угрожающим сопеньем чуть отставшая стая. Несколько мгновений — и она будет рядом. Ещё не сознавая своей медлительности и причин её, вожак делает осторожное движение к человеку. Опять вдыхает его тепло и запахи, на мгновение расслабляется и почти тыкается носом в тёплую, безвольно откинутую в снег ладонь. И тут картины детства врываются в память, будоражат мозг, заставляют напряжиться. Он

отскакивает от человека, оборачивается навстречу стае и, оцетинив холку, выдавливает из себя свирепый и долгий рык. Первое мгновение стая не слышит его и продолжает одолевать последние метры глубокого снега. Но это лишь мгновение, а в следующий миг стая останавливается, словно упирается в неведомую стену. Голодные, жадно дышащие звери пытаются обойти со стороны. Но вожак делает два коротких прыжка вправо-влево и застывает с грозным оскалом, готовый вцепиться в любого, сделавшего малейший шаг к человеку. Стая недоумевает, расслабляется, пробует окружить.

Но потеряно время, и рядом слышен уж лай собак. На взгорке мгновенно, словно из снежного заноса, вырастет фигура другого охотника. На весь лес скрипит под его ногами снег, доносится его шумное дыхание, похожее на свист. Вожак видит, как охотник вскидывает свою громкую суковатую палку, которой всегда указывает Смерти её выбор. Палка чуть колышется и выпускает из себя маленькое белёсое облачко. После этого должен будет трескуче расколоться воздух, осыпая снег с ближних ветвей. Но вожак почему-то не слышит этого. Что-то неодолимо тяжкое вдруг налегает ему на грудь, безжалостно толкает, сбивает с ног и отбрасывает в глубокий белый сугроб. Он пытается приподняться, но тело уже бесчувственно и неподвластно ему. Он видит свои вытягивающиеся лапы, кровь на снегу. Последним усилием поднимает голову и провожает затухающим взором уходящий из-под обстрела остаток стаи. Что-то розовое врывается в голову, застит глаза, и уже сквозь почти непроглядную пелену он встречается взглядом с глазами лежащего рядом человека. В них страх и недоумение, жалость и бессилие, в них кровавый снег и закатное небо, в них боль утраты и радость спасения, в них продолжение и торжество жизни...